



Анатолий Шигапов

**Я гражданин
Российской Федерации
вступая в ряды
Вооружённых Сил...**

18+

Вне серии

Анатолий Шигапов

**Я гражданин Российской
Федерации вступая в
ряды Вооружённых Сил...**

«Автор»

2026

Шигапов А.

Я гражданин Российской Федерации вступая в ряды Вооружённых Сил... / А. Шигапов — «Автор», 2026 — (Вне серии)

2027 год. Гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», роботы «Маркеры», Т-14 «Армата» с активной бронёй, «Красуха-С4», глушащая спутники НАТО. Война стала высокотехнологичной. Но умирать по-прежнему больно. Сувалкский коридор - самый опасный перекрёсток Европы. Если натовцы его перережут, Калининград превратится в котёл. Российские войска контратакуют, используя всё: от термобарических «Солнцепёков» до кинетических «Орешников». Рядовой Рокотов оказывается в эпицентре. Его задача - дойти до надписи которую оставил его дед. И водрузить знамя там же, в 45-м.

© Шигапов А., 2026

© Автор, 2026

Анатолий Шигапов

Я гражданин Российской Федерации вступаю в ряды Вооружённых Сил...

Я, гражданин Российской Федерации, вступаю в ряды Вооружённых Сил...

Голос Рокотова не дрогнул. Он выкрикнул эти слова так, будто от них зависела жизнь - не его, а тех, кто стоял за его спиной. Двести глоток подхватили - не хором, но едино, слитно, как один огромный живой организм. И ветер, солёный, хлёсткий, понёс эту клятву над Балтийском, над серым, тяжёлым морем, над чайками, что кружили в вышине, орали, хлопали крыльями, будто тоже принимали присягу - только ихнюю, птичью, бессловесную.

Рокотов выкрикивал слова, выученные наизусть, как «Отче наш». Он повторял их за полковником Тарасовым и чувствовал, как каждое слово становится тяжелее камня, оседает где-то в груди, в самом низу, у самого сердца. «Свято соблюдать Конституцию и законы» - это легко. Так казалось. Соблюдать то, что написано на бумаге, проще простого. «Достоинно выполнять воинский долг» - это труднее. Тут уже не бумажка, тут поступки. Но «Защищать свободу и независимость» - а вот это, думал Рокотов, зачем? Кто на нас нападёт в двадцать восьмом? Войн больше не будет, так все говорят. По телевизору говорят про мир, про партнёрство, про глобальную безопасность. Даже в учебниках истории дописали последнюю главу: эра войн закончилась.

Но он сказал - клянусь. И услышал, как это же «клянусь» летит от шеренги к шеренге, от молодых голосов, ещё не знавших войны, от юных глоток, не нюхавших пороха. Голоса эти взлетали над плацем, ударялись в бетонные стены штаба, отскакивали, множились, и вот уже весь воздух вокруг звенел одним словом: клянусь, клянусь, клянусь.

Плац войсковой части 12345 в Балтийске был старым, ещё советской заливки. Бетонные плиты растрескались, в швах между ними пробилась майская трава - яркая, сочная, будто назло всему. Май 2027 года. Ветер с моря тяжёлый, солёный, как слёзы, - он дул с залива, срывал пилотки, задирали полы парадных мундиров. Полковник Тарасов, седой, с лицом, изрезанным морщинами, как старая фронтовая карта, читал текст присяги не спеша. Он словно вбивал каждое слово в бетон, в камень, в память. Каждое слово падало в тишину между шеренгами, и эта тишина была такой глубокой, такой плотной, что слышно было, как бьются сердца двухсот парней, стоящих смирно. Кто-то часто и мелко, кто-то - тяжело, как молот. Рокотов слышал своё сердце, и оно стучало ровно, спокойно, будто говорило: «Ничего, парень, всё будет хорошо».

Рокотов стоял в первой шеренге - рослый, ладный, подтянутый. Форма на нём сидела новая, ещё пахла складом - казённым мылом, картонкой, утюгом. Воротник гимнастёрки натирал шею, но он терпел, не дёргался. Рядом - Морозов с Урала, коренастый, скуластый, с вечно прищуренными глазами. Рядом - Сафин из Казани, темноволосый, тихий, серьёзный не по годам. Ещё двадцать человек из его учебного взвода - все разные, но сейчас, в строю, они казались единым целым. Кто-то волновался, у кого-то подкашивались колени, кадыки ходили ходулем. Но Рокотов держался прямо, как струна. Он видел мать за ограждением - она стояла у самого края, втиснутая между чужими тётками и бабушками, теребила уголок платка, губы её шевелились. Молилась. Он знал эту молитву - короткую, бабушкину: «Господи, сохрани его». У него самого пересохло в горле, но он не отвел взгляда.

- Клянусь! - прогремело последнее. Сразу сотня глоток - и тишина. А потом оркестр грянул марш. Духовики надули щёки, барабанщики выбили дробь, мелодия поплыла над плацем, властная, торжественная, заставляющая кровь стучать в висках. Знамя пронесли перед строем - алое полотнище на ветру раздувалось, хлопало, как парус. Командир части, грузный полков-

ник с орденскими планками до локтя, поздравил их, сказал что-то о долге, о чести, о том, что Родина смотрит. Рокотов не слушал. Он смотрел на мать, и в голове стучало, как тот самый барабан: «Всё. Теперь я военный. Теперь меня могут убить». Эта мысль пришла не сразу. Она приползла позже, когда всё стихло, когда оркестр убрал инструменты, когда офицеры пожали руки и матери хлынули на плац обнимать своих сыновей.

Сначала был гул, смех, всхлипы. Потом толпа разорвала строй. Рокотов видел, как Морозов обнимал какую-то девушку в ярком платке, как Сафин прижимал к себе пожилую женщину - наверное, бабушку. А потом он нырнул в толпу, пробиваясь локтями, туда, где у самого ограждения стояла она.

Мать. Ирина Петровна. Невысокая, сухая, с седыми прядями, выбившимися из-под платка. Она уткнулась в его гимнастёрку, в это новое, пахнущее складом сукно, заплакала. Плечи её вздрагивали. Молчала долго, будто слова застревали в горле. Потом прошептала в грудь, горячо, срывающимся голосом:

- Сынок... Я горжусь. Но боюсь.

Он обхватил её, почувствовал, как хрупки её плечи, как легко обломать эту сухую ветку.

- Не бойся, мама. Я же на флоте. До Берлина не дойду, - сказал он тогда. Сказал с улыбкой, чтобы она не плакала.

- Не зарекайся, - ответила мать. И перекрестила его дрожащей, узловатой рукой. Широко, по-старообрядчески, троекратно.

Дед Рокотова, Алексей Иванович Астафьев, ушёл из жизни за год до этого - в мае двадцать третьего. Будто знал. Будто чувствовал, что девятое мая скоро перестанет быть только праздником, скоро станет днём новой войны. Дед прошёл от Москвы до Берлина. Расписался на Рейхстаге - огромными печатными буквами, чтобы все видели: «Астафьев Иван, Москва». Вернулся с медалями, которые никогда не снимал в День Победы. Даже в бане их не снимал - говорил, металл не ржавеет от воды.

Когда Рокотов был маленький, дед сажал его на колени, пах табаком и старым шинельным сукном, и рассказывал. Голос у деда был скрипучий, но спокойный, как у человека, который уже пережил всё, что только можно пережить. «Идём мы, Лёшка, по Берлину. Тишина. Такая тишина, что звон в ушах. Я не верю. Четыре года гремело - снаряды рвались, пули свистели, самолёты выли. А тут - конец. Тишина. И мы идём, а в домах окна раскрыты, и немцы смотрят из щелей. И никто не стреляет. Никто. Я тогда подумал: вот оно, счастье. Тишина». И ещё добавлял, всегда шёпотом, так, чтобы мать не слышала: «Война начинается всегда неожиданно. И самый страшный час - четвёртого утра».

Рокотов тогда не понимал, почему четвёртого. Запомнил, но не понял. Дед умер через неделю после Дня Победы - как будто дождался последнего парада, перекрестился, посмотрел на портрет своего взвода - их осталось только трое - и отдал Богу душу. Легко, без мучений. Утром проснулись, а он уже холодный. И улыбается.

На похоронах мать плакала, причитала: «Сирота ты теперь, Лёшка». А Рокотов стоял и думал: «Я не буду служить. Я не хочу стрелять. Я хочу жить, как все. Ходить на работу, смотреть кино, растить детей». Но слово, данное мёртвым, тяжелее камня. Дед сказал: «Служи, внучек». И Рокотов знал - придётся.

Ему исполнилось двадцать в марте двадцать восьмого. До этого он учился в автотехникуме в Калининграде - дали отсрочку. Учился без энтузиазма, кое-как. Сердце не лежало к двигателям, хотя руки были умелые - любую машину мог починить, от старого «Москвича» до новенького «КамАЗа». Но душа просила другого - чего? Он и сам не знал. Отчислился потом, через год, забрал документы. Мать расстроилась, но не ругала. Сказала только: «Как знаешь, сынок».

Мать осталась одна в посёлке Уварово. Отец ушёл из семьи, когда Лёшке было лет семь. Рокотов почти не помнил его - только запах дешёвого одеколona и тяжелую руку на плече.

Потом отец объявился раз в год, пьяный, с пустыми карманами, требовал денег. Мать давала, зажимаясь. Рокотов ненавидел его тихо, без сцен и криков. Просто вычеркнул из жизни.

После техникума он подрабатывал на заправке у выезда из Калининграда. Ночь, шланг, запах бензина, дальнобойщики, травящие анекдоты. Деньги небольшие, но на помощь матери хватало. О войне он не думал. В новостях - каждый день про Украину, про учения НАТО в Литве и Польше, про напряжённость. Но Калининград всегда был напряжённым - клочок русской земли, окружённый чужой территорией. Там привыкли жить в осаде, как в крепости. Не верили, что дойдёт до стрельбы. Так и говорили: «Запад бряцает оружием, а мы картошку сажаем».

А потом пришла повестка.

Тонкий листок, штамп военкомата, подпись военкома - плоским, неразборчивым росчерком. Рокотов взял его в руки, повертел, и вдруг услышал сквозь годы: «Служи, Лёшка. Не для галочки. Для нас, кто не вернулся». Это был голос деда. Или память.

В военкомат он пришёл сам. Не бегал, не косил, не просил у знакомого врача справку о плоскостопии. Военком, капитан с усталыми глазами, удивился: редкий зверь - доброволец. Спросил: «Куда хочешь?» Рокотов ответил не задумываясь: «В Балтийский флот. Ближе к дому. Мать одна». Права водительские были, категория «С». Военком кивнул, что-то чиркнул в карточке. И отправили его в учебку береговых войск в Балтийске - готовить механиком-водителем бронетранспортёра.

Четыре месяца учёбы - как четыре года. Поначалу он злился. Бег в противогазе в шесть утра, разборка автомата с закрытыми глазами, казарменные порядки, душ по расписанию, отбой через пятнадцать минут после ужина. Ему казалось, что его ломают, что из него вытравливают всё живое. Но потом - втянулся. Привык. Даже находил в этом странную прелесть: ясность, порядок, никаких лишних мыслей.

Старший прапорщик Сизов, седой как лунь, с нашивками за Афган и Чечню, учил их не столько стрелять, сколько выживать. «Автомат - это железка, - хрипел Сизов на плацу, поливая ряды ученическим потом. - А голова - вот она, главное оружие. Выучитесь думать в бою - считайте, что живы». Он учил окапываться, маскироваться, читать следы на земле, отличать след БТРа от следа трактора. Учил не бояться. «Страх - это нормально, - говорил прапорщик, сверкая выцветшими глазами. - Страх надо не прятать, а использовать. Бойтись тот, кто жив. Но если страх берёт верх - ты уже труп. А труп не боится». И он шурился, доставал флягу с чаем и отходил в сторону, ожидая, пока заучки переварят его слова.

За день до присяги в распоряжение пришёл полковник Тарасов. Тот самый, седой, с морщинистым лицом. Прошёлся вдоль строя, заложив руки за спину. Остановился напротив Рокотова. Спросил негромко, так, чтобы слышали только стоящие рядом:

- Рокотов? Сын Ивана Алексеевича?

- Так точно.

Рокотов удивился. Откуда полковник знает его отца? Но спрашивать не стал.

- Дед воевал?

- Так точно. Берлин брал.

- Помнишь его рассказы?

- Каждое слово, товарищ полковник.

Тарасов помолчал. Ветер шевелил седые волосы на его висках. Потом сказал, и голос его стал тише, но твёрже, словно он открывал тайну:

- Тогда ты знаешь, за что присягаешь. Не за президента. Не за правительство. За деда. За мать. За тех, кто не вернулся. Шаг вперёд.

Рокотов сделал шаг. Глаза защипало - не от слабости, от ветра. Или от чего-то другого.

В тот же вечер он написал матери в "Макс" короткое сообщение: «Мама, завтра присяга. Приезжай, если сможешь. Я волнуюсь». Мать ответила через минуту: «Приеду. Держись, сынок». И смайлик - жёлтое сердечко.

Утро шестого мая выдалось хмурым. Низкие облака ползли с моря, цепляясь за крыши казарм. Вода в заливе была серая, свинцовая, с белыми барашками. Ветер резал лицо, как бритва. Рокотов стоял в строю, дрожал - не от холода, от нервов. Оркестр замер у знамени. Барабанщик замер с поднятыми палочками. Вынесли алое полотнище - под барабанный бой, с замиранием сердца. Знаменосец шёл чеканным шагом, полотнище трепетало на ветру, и на миг Рокотову показалось, что это само пламя войны встало перед строем.

Из-за ограждения на него смотрела мать. Она стояла в толпе других женщин, прижимая к груди старую чёрную сумку. Рядом - никого. Отец не приехал, не звонил, даже сообщения не написал. И не надо.

Полковник Тарасов развернул красную папку. Прочитал текст - чётко, отдельно, как по писаному. «Прошу всех подготовиться». Рокотов глубоко вдохнул, выдохнул. Сердце стучало где-то в горле. Он украдкой взглянул на мать - она крестилась, глядя на него. И начал: «Я, гражданин Российской Федерации, вступаю в ряды Вооружённых Сил...»

Он кричал эти слова, и двести глоток кричали следом. «Клянусь!» - и бетонный плац, казалось, дрожал, будто живой. «Клянусь!» - и чайки в небе замолкали, будто тоже слушали. «Клянусь!» - и мать за ограждением крестилась не переставая, и слёзы текли по её щекам, и она не вытирала их.

Рокотов выкрикнул последнее «Клянусь!» и почувствовал, как голос сорвался, охрип. Но это было неважно. Важно было другое: он произнёс эти слова, и они уже не вернуться. Они ушли в воздух, в бетон, в море. Они стали частью его, как кровь или дыхание.

После - оркестр, шаг на месте, команда «Вольно!». Потом толпа, объятия, слёзы. Кто-то целовался с девушками, кто-то обнимал матерей, кто-то жал руки отцам. К Рокотову, кроме матери, никто не подошёл. Морозов обнял свою девушку - круглолицую уралочку со смешливыми глазами. Сафин - жену, молодую, в платке, стеснительную. А Рокотов стоял с матерью, и ей одной говорил: «Всё будет хорошо, мам. Я вернусь». Она не верила, но кивала.

К ним подошёл прапорщик Сизов. Не спеша, вразвалочку, поскрипывая новыми берцами. Отвёл Рокотова в сторону, глянул в глаза - выцветшие, но острые, как лезвие. Запах от него был табачный, крепкий, мужской.

- Запомни, - сказал Сизов, негромко, чтобы мать не слышала. - Присяга - это не бумажка. Это когда ты берёшь на себя ответственность. Не за себя - за того, кто рядом. Помрёшь - поминать будут не генералов. Помянут тебя, кто с тобой в окопе сидел. Смотри. Война - не кино. Но если придётся - не струсь. Ты понял?

- Понял, товарищ прапорщик.

- Иди. Отдыхай. Завтра учения.

Сизов ушёл, поскрипывая. А Рокотов остался стоять. Мимо проходили чужие люди, жали руку, хлопали по плечу, говорили: «С праздником!». Он отвечал «Спасибо» и думал о своём. О словах Сизова. О том, что такое «помрёшь» - и как это близко. Неужели всего через три дня после присяги ему придётся проверять эту клятву? Он гнал эту мысль прочь, но она возвращалась.

Вечером, в казарме, когда соседи уже храпели - Морозов на верхней койке, Сафин - на нижней напротив, - Рокотов достал блокнот. Потрёпанный, в клеёнчатой обложке, который мать подарила ему на день рождения. карандаш отточил ногтем. И написал:

«6 мая 2027. Балтийск.

Присягнул. Теперь я - защитник. Не знаю от кого. Но готов.

Дед, ты просил служить - я служу. А дальше, как Бог даст».

Подумал - и зачеркнул последнюю фразу. Не хотелось про Бога. Не потому, что не верил. Просто слишком много раз за сегодня он слышал это имя - от матери, от старух на плацу, от Сизова (тот крестился перед сном). Все они звали Бога на помощь, а Рокотову хотелось надеяться на себя. Переписал:

«А дальше, как будет. Но если что - не струшу».

Лёг спать поздно. Отбой уже дали, а он всё ворочался, слушал, как дышат соседи. Морозов свистел носом, Сафин бормотал что-то во сне на татарском. Рокотов подошёл к окну, упёрся лбом в холодное стекло. Море чернело внизу, без единого огонька, будто вымерло. Чайки спали, прижавшись к карнизам. Тишина - такая, что звон в ушах.

И во сне ему привиделся дед.

Не старый, как на похоронах, а молодой, в гимнастёрке с расстёгнутым воротом, в пилотке, лихо заломленной набок. На плече - автомат ППШ, тот самый, с диском. Стоял у Рейхстага, на стене которого было написано мелом: «Астафьев Иван, Москва». Улыбался, шурился. А потом сказал - не громко, но отчётливо, так, что каждое слово врезалось в память:

- Внучек, ты там поосторожней. Четвёртого утра бойся. Оно самое страшное.

Рокотов хотел спросить: «Почему? Почему четвёртого? Что в нём такого?» - но проснулся. Сердце колотилось, как после кросса. Пот заливал глаза. Он сел на койке, дрожащей рукой ощупал грудь - крест? Нет, крест был на иконке у матери. Часы над дверью казармы показывали 3:47. Седьмое мая. За окном - темень, ни звезды, ни луны. Только ветер завывает и где-то далеко, за лесом, кричит ночная птица.

Он перекрестился - хотя раньше никогда не крестился, даже бабушка его не научила, - и снова заснул. На этот раз без снов. Только чёрная пустота, и в ней - слова деда, эхом разбивающиеся о стены: «Четвёртого утра... четвертого утра...».

Эта книга - для тех, кто ещё помнит. И для тех, кто постепенно забывает. Не потому, что они плохие, а потому, что память - это труд, а тишина и сытость убаюкивают быстрее, чем мы успеваем заметить.

Я не ставил себе целью написать литературный шедевр. Я не гнался за изящными метафорами. Я просто записывал то, что видел, слышал и осязал - то, что застряло в лёгких вместе с гарью, то, что въелось под ногти.

Многие спросят: «Зачем это сейчас? Ведь на дворе - мир?»

Я отвечу: как раз потому, что мир, и нужно говорить. Потому что именно в эпоху спокойствия люди чаще всего перестают ценить то, что имеют. Потому что именно в мирное время легче всего потерять бдительность.

Я часто слышу: «Зачем ты врешь? Вон, по телевизору говорят совсем другое».

Проблема не в том, какой телевизор вы смотрите. И даже не в том, смотрите ли вы его вообще. Проблема в том, что мы всё чаще перестаём проверять информацию. Перестаём сомневаться. Перестаём искать первоисточники. Мы добровольно передаём свой мозг в аренду тем, кто громче кричит.

Я не даю готовых ответов. Я задаю вопросы.

Много вопросов.

Я хочу, чтобы после прочтения вы не успокоились, не отложили книгу и не сказали: «Как хорошо, что это выдумка». Нет. Я хочу, чтобы вы почувствовали лёгкую тревогу. Тревогу, которая заставит задуматься:

- А что я буду делать, если война действительно придёт в мой город?

- Готов ли я взять в руки оружие? Если нет - готов ли помогать другим? Перевязывать, кормить, прятать?

- И главное - останусь ли я человеком, когда начнут падать бомбы?

Эти вопросы не для телевизионных ток-шоу и не для интернет-споров. Они - для вашей совести.

Я знаю, многие из вас сами выросли на рассказах дедов. Кто-то ещё застал живых ветеранов. Кто-то - нет. Но в каждом из нас живёт память о том, что мир - хрупок. И защищать его приходится каждый день, даже когда кажется, что стрелять уже не в кого.

Я писал эту книгу не для того, чтобы кого-то оскорбить или унижить. И не для того, чтобы кого-то возвысить. Я писал её как напоминание: тишина не вечна. И когда она обрывается, важно не растеряться.

Если эта книга заставит хотя бы одного человека задуматься о том, что война реальна - я не зря потратил время.

Если хотя бы один человек перестанет верить красивой лжи - цель достигнута.

Если хотя бы один вспомнит вечером 8 мая, почему этот день называется Днём Победы, - моя книга победила.

Читайте с открытыми глазами.

И берегите тех, кто рядом.

Анатолий Шигапов

Май 2027 года, Калининград, на руинах старого форта

Глава 1. «Канун»

Увольнительную Рокотов получил неожиданно. В то утро, после завтрака, когда они слонялись по казарме в ожидании развода, прапорщик Сизов неожиданно выстроил их в коридоре. Короткий, коренастый, с нашивками за две чеченские и одну афганскую, он прошелся вдоль шеренги, заложив руки за спину, и остановился напротив Рокотова. Глаза – выцветшие, колючие – смотрели с усмешкой.

– Рокотов, мать звонила? – спросил он негромко, так, чтобы слышали только рядом стоящие.

– Так точно, товарищ прапорщик. Просила помочь по дому, – ответил Рокотов, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

Сизов побряхтел, почесал седой, коротко стриженный затылок. Потом вытащил из кармана сложенный вчетверо листок – увольнительную записку, подписанную командиром роты.

– Ладно, – сказал он, протягивая бумагу. – Два дня. До восьмого вечера. Девятого – как штык. Без глупостей. И мать не позорь.

Рокотов взял записку, поблагодарил, прижал к груди. Кровь стучала в висках – не от страха, от радости. Целых два дня дома. В Уварово. К матери, к её пирогам, к её тихой молитве. И ещё – озеро Виштынецкое, весенняя вода, почти прозрачная, костёр, гитара. В голове уже замелькали картинки: синее небо, запах дыма, песни под аккорды.

И вдруг – другое лицо. Алиса.

Он вспомнил её сразу: месяц назад на заправке, где он работал до армии. Она заливала полный бак старенькому «Фольксвагену», попросила проверить давление в шинах. Разговорились. Русский отец, польская мать – выросла в Калининграде, но лицом в мать: тёмные волосы, серые глаза с искрой, говор чуть певучий, с мягким «л». Работала медсестрой в городской больнице, на выходные приезжала к тётке в Уварово. Тогда, в кафе у озера, они проговорили до темноты, а потом он проводил её до калитки. Поцеловал, когда уже смеркалось, и она не отстранилась. Сказала просто: «Как-нибудь увидимся». И вот – увидится.

Он набрал её номер из казармы – телефоны выдавали на час, перед увольнением. Каждый солдат стоял в очереди, прижимая к уху трубку, и голоса гремели на всю курилку. Рокотов отошёл в угол, набрал. Гудки, долгие, тревожные. Потом ответили – сонный, чуть хрипловатый голос:

– Алё?

– Алиса, это Лёша. Рокотов. Помнишь?

Пауза. Он услышал, как она откашлялась, села на кровати – там, в своей калининградской квартире. Потом голос потеплел, стал глубже:

– Конечно, помню. Ты где?

– В Балтийске. Вырвался на два дня. Завтра в Уварово поеду. Может, встретимся?

– Может, и встретимся. – В голосе послышалась улыбка. – Я как раз смену отстояла. Тоже думала к тётке съездить, малину сажать.

– Тогда – завтра. На озере. Вечером.

– Договорились. – И уже веселее, с хитрецей: – А зови меня Лиса. Так все друзья. За рыжий хвост – только он у меня не рыжий, а характер такой. Хитрый.

Он улыбнулся, прислонившись к холодной стене:

– Лиса так Лиса.

Положил трубку и почувствовал, что внутри разливается что-то тёплое, почти забытое – не любовь ещё, но её предчувствие. Рядом стоял Морозов, ждал очереди к телефону, подначивал:

– Рокотов, девушка?

– А тебе какое дело?

– Да так. Смотри, не пропади. Нам ещё воевать, если что.

Рокотов отмахнулся, хотя внутри кольнуло – слово «воевать» прозвучало неуместно, будто Морозов каркнул:

– Не навоешься.

Но в глубине души он знал: прапорщик Сизов сказал бы то же самое, но серьезнее.

На сборы дали час – целых шестьдесят минут, которые растянулись в вечность. Рокотов сунул в рюкзак постиранное бельё, гостинцы матери: банку сгущёнки, пачку чёрного чая «Майский», хозяйственное мыло – в армии выдали лишнее, а дома всё пригодится. На дно бросил потрёпанный томик Есенина – мать любила. Оружие не брал, даже в мыслях не было. Автомат остался в оружейке, под присмотром дежурного.

Прапорщик Сизов на КПП махнул рукой, не глядя. Козырнул, подышал в кулак:

– Давай, Рокотов. Только без глупостей. Девятого – как штык.

– Есть, товарищ прапорщик.

Он вышел за ворота части, глубоко вдохнул – ветер с моря нёс соль, водоросли, свободу. Автобус на Балтийск уже фырчал на остановке.

На автобусной остановке в Балтийске его ждали двое. Ботаник – долговязый, нескладный, в очках с толстыми линзами, с огромным рюкзаком, набитым книгами. Начитанный до чёртиков, мог прочитать лекцию о любой исторической дате – от битвы при Калке до падения Берлинской стены. Рядом – Кекс, полная противоположность: крепкий, приземистый, руки в мозолях, пахло от него соляжкой и сеном, хотя жил он в городе, а сено – от отцовского огорода.

Оба – из Уварово, оба друзья детства. Ботаник учился на истфаке в Калининграде, писал какую-то курсовую про Сувалкский коридор. Кекс работал наладчиком на молокозаводе, в свободное время чинил всё, что двигается, и не двигается тоже.

Рокотов спрыгнул с подножки автобуса, обнял их, хлопнул по спинам – крепко, по-мужски.

– Ну что, мужики, – сказал Кекс, шурясь от солнца. – Мать твоя, Лёха, пирогов напекла – с капустой, с яйцом, с луком. Ленка, сеструха, тоже приедет. Скучала, говорит, по брату.

Ленка – сестра Кекса, девятнадцать лет, тихая, застенчивая. Рокотов знал её с пелёнок. Ботаник вдруг покраснел, поправил очки.

– Ленка – это та, что в учительский ходит? – спросил он, стараясь говорить равнодушно.

Кекс хмыкнул, хлопнул Ботаника по плечу:

– Ага, она самая. Ты, смотри, не равнодушен?

– Да ладно вам, – буркнул Ботаник.

Рокотов улыбнулся, глядя на них. Война ещё не началась, а уже любовь. Две пары – он и Алиса, Ботаник и Лена. Кекс – третий лишний. Впрочем, Кекс всегда был сам по себе. Не жаловался.

Сели в старый «уазик», который мать оставила Рокотову в наследство от отца. Мотор чихнул, закашлял, потом завёлся – ровно, привычно. Дорога до Уварова – час с хвостиком, через Зеленоградск, потом вдоль границы. Май. Зелень ударила в глаза – берёзы распустились, клёны только-только выпустили липкие листочки. В полях – трава по пояс, в лесу – черёмуха, запах такой, что голова кружится. Рокотов вёл, Кекс рядом, Ботаник сзади с рюкзаками.

– Слышали новости? – спросил Ботаник, перегнувшись через сиденье. – НАТО учения у границ. Поляки технику подтянули к Сувалкам. Литва тоже.

– Да каждый год так, – отмахнулся Кекс, доставая сигарету. – Побряцают и успокоятся.

– А я не уверен, – Ботаник понизил голос, будто говорил о заговоре. – Читал аналитику. Сувалкский коридор – самое узкое место. Если начнётся – там и будет котёл. Натовцы отрежут Калининград от России за сутки.

– Кончай каркать, – оборвал его Рокотов, не поворачивая головы. – У нас выходные. Девушки, озеро, шашлыки. О войне после войны поговорим, если будет.

Ботаник замолчал, но вид у него остался задумчивым. Он уставился в окно, на проплывающие берёзы, и что-то бормотал себе под нос. Рокотов покосился в зеркало – и почувствовал неловкость. Будто друг знал что-то, чего не знали они.

В Уварово въехали около полудня. Посёлок – домов тридцать, деревенская улица, крашенные ставни, колодец с журавлём, обелиск павшим в Великую Отечественную в центре. У обелиска уже стояли венки, георгиевские ленты, готовились к завтрашнему празднику. Мальчишки на велосипедах гоняли, девчонки в платьях смеялись. Мирная жизнь текла своим чередом.

Мать Рокотова, Ирина Петровна, стояла у калитки, поджав губы. Увидела «уазик», шагнула навстречу, но виду не подала, что рада. Только руки теребили фартук.

– Долго ехали, – сказала вместо приветствия. – Я уж думала, не отпустят.

– Отпустили, мам. На два дня.

– На два – хорошо. – Она перекрестила его, будто невольно. – Проходите, мойтесь с дороги. Я пирогов напекла.

В доме пахло дрожжами, капустой, только что вынутым из печи хлебом. Стол уже накрыт – скатерть с бахромой, тарелки с голубой каёмкой, домашние соленья: огурцы, помидоры, квашеная капуста. Рокотов прошёл в горницу, огляделся – всё на своих местах: фотографии на стенах (дед в гимнастёрке, отец ещё молодой, мать с младенцем), икона в красном углу, половики на полу. В углу, под образами, теплилась лампадка.

Следом прибежала Лена, сестра Кекса. Девятнадцать лет, тихая, застенчивая, в ситцевом платье в горошек. Увидела Ботаника – покраснела до корней волос, опустила глаза, уставилась в пол. Ботаник тоже покраснел, поправил очки, открыл рот и закрыл. Кекс хмыкнул, подтолкнул обоих:

– Что вы как первоклашки? Здравойтесь.

Лена протянула руку, Ботаник пожал, оба молчали. Рокотов смотрел на них и думал: «Господи, как всё просто, когда нет войны. Смущаются, краснеют, а завтра – праздник. И никто не знает...». Он оборвал мысль. Не хотелось о плохом.

Мать выгатила из печи противень, поставила на стол. Рокотов подошёл, обнял её, уткнулся в плечо. Она пахла мукой, сдобой и чем-то родным, до слёз, что не передать словами.

– Сынок, ты похудел, – сказала она, погладила по голове, задержала ладонь.

– Не похудел, мам. Форма такая – в обтяжку.

– Ладно, ешь давай.

И пихнула ему тарелку с капустным пирогом – поджаристым, с румяной корочкой.

За столом говорили о пустяках: о погоде (обещали солнце на завтра), о том, что картошку пора сажать, а огород ещё не вскопан, о соседской корове Зорьке, которая вырвалась на волю и съела клумбу председателя. Смеялись. Кекс рассказывал, как на заводе новый начальник ввел дресс-код, а мужики в ответ надели пиджаки поверх спецовок. Ботаник цитировал что-то из Геродота. Лена робко улыбалась.

Рокотов сидел и думал: «Вот оно, счастье. Простое, земное. Сидеть за столом, слушать мать, смотреть на друзей. И нет ни войны, ни повесток, ни присяги».

И тут в дверь постучали.

Он встал, пошёл открывать. На пороге стояла Лиса. Джинсы, ветровка, тёмные волосы собраны в хвост – бывает же, что прозвище не по волосам, а по повадкам. Серые глаза – материны, польские – смотрели насмешливо и чуть тревожно.

– Привет, солдат. – Она улыбнулась, и в голосе зазвенело. – Принимаешь гостей?

– Заходи. Мать напекла.

– Я по поводу озера. Сегодня вечером, как договаривались? Компания будет – твои, мои, кто хочет.

– Будет. Сейчас поедем и поедем.

Лиса зашла в дом, поздоровалась с матерью Рокотова, с Леной, с ребятами. Кекс подмигнул Рокотову, шепнул: «Хороша». Рокотов сделал вид, что не услышал. Лиса села рядом с ним, молча взяла пирог, откусила маленький кусочек. Ирина Петровна смотрела на них из-за самовара, улыбалась в усы, покусывала губу.

– Что смотришь, мать? – спросил Рокотов, чувствуя неловкость.

– Да так. Добрая девушка. Не упusti.

Он покраснел. Лиса – нет. Она спокойно доела пирог, вытерла губы салфеткой и спросила:

– А гитару взяли? У меня новые аккорды разучил.

– Кекс взял, – ответил Ботаник.

– Ну вот и славно.

После обеда начались сборы на озеро. Кекс загрузил в «уазик» палатку (армейскую, трёхместную), спальники, гитару в чехле, кастрюлю, сосиски, хлеб, травяной чай в кульке. Ботаник прихватил книгу – «Василий Тёркин», твёрдую обложку, потрёпанную, с дарственной надписью от деда. Рокотов спросил:

– Настроение?

– Классика. Под костёр хорошо идёт.

Лиса взяла аптечку – привычка медсестры: бинты, пластырь, зелёнка, обезболивающее. Лена – плед и подушку.

Выехали ближе к пяти вечера. Озеро Виштынецкое – в двадцати километрах от Уварова, прямо на границе с Литвой. Дорога лесная, грунтовая, местами разбитая тракторами. За последним поворотом открылась вода – синяя, гладкая, как стекло, с островом посередине. Литовский берег – в густом лесу, ни одного домика, ни души. Российский – пологий, с песчаной косой, поросшей соснами. На косе – ни одного человека. Тишина. Только чайки кружат над водой, иногда ныряют за рыбой.

– Вот мы и дома, – сказал Кекс, вылезая из машины и потягиваясь.

Разбили лагерь. Палатки – две: одна для парней, побольше, другая для девушек, уютнее. Костёр сложили грамотно – Кекс знал толк в дровах: снизу береста, потом мелкие ветки, потом сухие сосновые поленья. Рокотов набрал хвороста в лесу, Ботаник нарубил бересты ножом. Лиса и Лена собирали сухие ветки вокруг.

Огонь разгорелся быстро – сперва затрещал, зашипел, потом взметнулся выше человеческого роста, осветил лица. А потом утих до ровного, жаркого пламени.

Стемнело быстро – майский вечер короток. Над озером взошла луна – полная, жёлтая, как блин. Звёзды высыпали мелкой россыпью, и в воде отражались, размытые, дрожащие. Кекс достал гитару, попробовал струны, подкрутил колки. Спросил:

– Что играем?

– Давай «Смуглянку», – предложил Ботаник.

И пошло. Сначала «Смуглянку», потом «Катюшу», потом «Тёмную ночь». Пели все, даже Лена, которая сначала стеснялась, а потом разошлась. У Лисы голос низкий, чуть грустный, с хрипотцой. Рокотов подпевал фальшиво, но никто не обращал внимания. Сидели на брёвнах, пили чай из алюминиевой кружки – по очереди, обжигаясь.

Ботаник вдруг достал книгу, открыл наугад, на главе «Переправа». Кашлянул, сказал:

– Послушайте.

И прочитал вслух, негромко, с выражением:

«Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,

Кому тёмная вода, -

Ни приметы, ни следа».

Стало тихо. Только костёр потрескивал, да вода плескалась о песок. Кекс перестал брэнчать, замер. Лена вздохнула. Рокотов почувствовал, как по спине пробежали мурашки.

– Хорошо, – сказал наконец Кекс. – Но грустно.

– Это жизнь, – ответил Ботаник, закрывая книгу. – Война – она всегда грустно. Даже победная.

– А у нас войны не будет, – уверенно заявила Лиса. Она сидела напротив, поджав ноги, и смотрела в огонь. – Не может быть. Мы же не звери.

– Кто – «мы»? – спросил Ботаник.

– Люди.

Никто не ответил. Рокотов смотрел на озеро, на огонь, на Лису. Мысли были разные: о доме, о матери, о присяге, о прапорщике Сизове и его старом автомате. Автомат лежал в рюкзаке, прислонённом к сосне. Он чувствовал его тяжесть даже отсюда – как напоминание о том, что мир слишком хрупок. Одно движение – и всё рухнет.

Лиса перебралась поближе к нему, села рядом, боком, почти касаясь плечом. Спросила тихо, чтобы другие не слышали:

– А ты боишься? Службы? Войны?

– Не знаю. Не думал.

– Врёшь.

Он помолчал, потом сказал честно:

– Может, и вру. Я присягнул. Теперь – как карта ляжет.

Она посмотрела на луну, на отражение в воде. Сказала:

– Когда ты ушёл в армию, я думала – забуду. Не забыла. И ещё – я полукровка. Мать – полька, отец – русский. В детстве боялась, что меня будут ненавидеть. И наши, и ихние. А теперь думаю: может, оно и к лучшему. Так я – живой мост. Никому не желаю зла.

Рокотов молчал. Сердце стучало где-то в горле. Взял её руку – холодную, тонкую, с длинными пальцами. Погладил. Сказал:

– Мост так мост. Главное, чтобы не сожгли.

– Не сожгут? – спросила она, глядя в костёр. В глазах плясали красные искры.

– Не дадим, – ответил он и не понял сам, что имел в виду. Может, себя. Может, всех.

С другой стороны костра Кекс затянул что-то про бывшую – блатное, с гитарными переборами. Ботаник спорил о смысле жизни с Леной, которая робко улыбалась и кивала. Обычный вечер, каких тысячи, миллионы. Не предвещало войны.

А потом Ботаник сказал, неожиданно серьёзно, почти шёпотом:

– Вы знали, что на дне Виштынецкого лежат бомбы? Ещё с войны. Тонны тротила. Лежат и ждут.

– Чего ждут? – спросил Кекс, не переставая перебирать струны.

– Глупости, – отмахнулся Ботаник. – Детонатора нет. Но если бы кто-то... Не важно. Сказки.

Рокотов поёжился, хотя костёр горел жарко. Подумал: «Почему он сегодня всё о войне да о смерти?» А вслух не сказал ничего. Только взял кружку с чаем, отпил горькую жидкость.

Глава 2. «Озеро перед бурей»

Девушки ушли в свою палатку, но слышно было, как они ещё долго возились, шептались, иногда тихо посмеивались. Голос Лисы - низкий, с хрипотцой - что-то рассказывал, Лена отвечала тоненьким смешком. Потом раздался звонкий шлепок - то ли подушкой друг друга ударили, то ли просто хлопнули по спальнику. И наконец стихли. Только изредка доносился приглушённый шорох - кто-то ворочался, устраиваясь поудобнее.

Костер догорал. Угли алели глубоким, вишнёвым светом, над ними вился редкий дымок - почти прозрачный, тающий в темноте. Ветер с озера потянул прохладой, влажной и свежей, пахло рыбой, тиной и далёкой грозой. Рокотов подбросил сухих веток - они вспыхнули с треском, осветили на миг лица троих парней, сидевших на брёвнах у самого огня.

- Не спится, - сказал Кекс, зевнув до хруста в челюсти. - Что-то в груди сосёт. Будто волосы на спине встали.

- Переел пирогов, - усмехнулся Рокотов, кивнув на остатки ужина в котелке.

- Может, и так. - Кекс почесал затылок, но улыбнуться не получилось - лицо осталось напряжённым. - А может, чуйка. Отец всегда говорил: если чуйка беспокоит - не игнорируй.

Ботаник молчал. Сидел, обхватив колени, и смотрел на огонь немигающим взглядом, как будто видел в пламени что-то, недоступное другим. Потом полез в свой огромный рюкзак, долго шарил среди книг и тетрадей, наконец достал потрёпанный конверт без марки - пожелтевший, сложенный пополам, с залитыми воском уголками. Рокотов узнал: фронтовое письмо. У Ботаника их была целая пачка - дед писал домой с войны, а бабушка хранила в старом жестяном чайнике до самой смерти.

- Хочешь почитать? - спросил Рокотов, хотя уже знал ответ.

- Да. - Ботаник провёл пальцем по сгибу конверта. - Сегодня - день особенный. Завтра девятое мая. Дед его написал как раз девятого мая сорок пятого. После Берлина. Сразу после того, как расписался на стене Рейхстага.

Кекс перестал чесаться, замер. Рокотов подбросил ещё веток - чтобы светлее было, чтобы слова лучше слушались.

Ботаник развернул листок - бумага была тонкой, как папиросная, на сгибах почти прованной, держалась на честном слове. Письмо писали карандашом, буквы расплылись от времени и влаги, но слова угадывались - крупные, неровные, торопливые.

- Слушайте, - сказал Ботаник и прочитал негромко, чуть нараспев, словно боялся разбудить спящих девушек:

«Здравствуй, моя родная Шура. Пишу тебе из Берлина. Сегодня 9 мая 1945 года. Война кончилась. Я жив, ты не поверишь - жив. Мы брали Рейхстаг, на стенах расписывались, я тоже написал: „Сергей Ковалёв, Воронеж». А потом наступила тишина. Такая тишина, что звон в ушах. Мы вышли из подвала, а там - ни стрельбы, ни взрывов. Только наши ребята обнимаются

и плачут. Я не верю, что кончилось. Всё, четыре года. Теперь буду жить. Но не забуду никогда. Ничего не забуду. Целую тебя и ребят. Твой Серёжа».

Ботаник замолчал. Сунул письмо обратно в конверт, а конверт - в рюкзак, на самое дно, где лежали другие такие же пожелтевшие треугольники. Потом сказал, глядя в огонь:

- Он вернулся. Прожил до девяноста трёх. Внуков дождался, правнуков. А перед смертью попросил перечитать это письмо. И сказал тогда: «Сынок, война не заканчивается, когда подписывают мир. Она заканчивается, когда последний солдат перестаёт вздрагивать от грохота». Я тогда не понял. Подумал - дед заговаривается. А теперь, кажется, начинаю понимать.

Кекс поскрёб уголёк палкой, вытащил из костра тлеющую головешку, задул. Спросил негромко, будто невзначай:

- А твой дед, Лёха? Ты рассказывал, что он тоже до Берлина дошёл.

Рокотов помолчал. Смотрел на отражение костра в чёрной озёрной глади - там, далеко, у самого горизонта, пламя дробилось на сотни оранжевых бликов. Там, на том берегу, уже была Литва - чужая земля, чужие люди, чужие законы. Завтра, может быть, оттуда прилетят ракеты. Но он не знал этого. Не хотел знать.

- Дед мой, - начал он негромко, нащупав в кармане крест, который мать сунула на прощание, - Астафьев Иван Алексеевич. Из Сибири призвали, из-под Томска. Деревня у него была - семь домов, медведи по улицам ходили. Попал в пехоту, в самую мясорубку. В сорок первом под Москвой был, в окопах, без винтовок. Потом Сталинград, потом Курская дуга. Ранен два раза - в плечо и в ногу, контужен один раз - под Прохоровкой, когда наши танки пошли в атаку, а его блиндаж засыпало. Откопали еле живого.

Ботаник слушал, поджав губы. Кекс - не шелохнувшись.

- К Берлину шёл в составе 150-й стрелковой дивизии, - продолжал Рокотов. - Той самой, что штурмовала Рейхстаг. Расписался там - я сам видел фотографию, у матери в альбоме. Столб такой, серый, облупленный, и на нём мелом: «Астафьев Иван, Москва». Он ведь в Москве после войны жил, вот и написал. Хотя родом из Сибири, и Москву видел только проездом.

- Тоже письма писал? - спросил Ботаник.

- Писал. Но не такие, как твой дед. Он больше о другом. - Рокотов помолчал, собираясь с мыслями. - Он говорил: «Самое страшное на войне - не смерть. Самое страшное - привыкнуть к смерти. Когда перестаёшь бояться, ты уже не человек. Ты - механизм». Я маленький был, не понимал. Думал, дед пугает. А теперь, после присяги, думаю: а вдруг придётся? Вдруг я тоже привыкну?

Он замолчал. Кекс насупился, отбросил палку.

- Не придётся, - буркнул он уверенно, но в голосе уже не было прежней твёрдости. - Войны не будет.

- Откуда знаешь? - спросил Рокотов тихо.

- Сердцем чувю. Отец говорил: у нашего рода чуйка на беду. Я чувю - не будет.

Никто не ответил. В костре провалилось полено, взметнулся сноп искр, взлетел над озером, погас в темноте, так и не долетев до воды.

Рокотов поднялся, разминая затекшие ноги.

- Пойду воды попью, а то от дыма в горле пересохло.

Он отошёл к берегу, туда, где вода была чище - подальше от костра, где песок белый и мелкий. Нагнулся, зачерпнул ладонями, припал губами. Вкус - холодный, с тиной, с ряской, и ещё с какой-то странной сладостью, будто сахар кто-то растворил. Или так показалось.

Рядом кто-то шагнул - тихо, босиком по песку. Он обернулся. Лиса.

В одной футболке, без куртки, волосы распущены, спадают на плечи. Босая, ноги блестят в лунном свете. Стоит, обхватив себя руками, чуть дрожит.

- Не спится? - спросил он.

- Не спится. Душно в палатке.

- Садись.

Она села на песок рядом с ним, поджав ноги, прижалась плечом. Рокотов снова посмотрел на литовский берег - там темнел лес, сплошная стена, ни огонька, ни звука, только шум ветра в кронах. Небо над лесом было усыпано звёздами - мелкая россыпь, будто кто-то рассыпал соль. И месяц - тонкий, серповидный, уже клонился к закату.

- Красиво, - сказала Лиса. Голос её был чуть хриплым со сна. - Жаль, что это озеро - пограничное. Если бы не граница, мы могли бы переплыть на ту сторону. Говорят, там дикий пляж, сосны, и вода ещё чище. И никто не стреляет.

- Может, когда-нибудь границ не будет, - ответил Рокотов, не зная, верит ли сам в это.

- Думаешь? - Она повернулась к нему, и луна подсветила её лицо - серые глаза, твёрдый подбородок, тонкая родинка у виска. - Я, знаешь, с детства мучилась. Отец - русский, мать - полька. В школе дразнили то «полячкой», то «кацапкой». Кто-то считал меня чужой, кто-то - врагом. А я ни та, ни другая. Я просто человек. Мать говорила: «Земля не делится на нашу и вашу. Земля - общая. И люди - общие». Я долго не верила. А теперь смотрю на озеро - и верю.

- А я никогда не думал о национальности, - признался Рокотов, глядя на воду. - Для меня все свои. Русские, белорусы, татары, калмыки - в учебке были ребята со всей страны. А поляки с литовцами - чужие. Но не враги. Враги - те, кто с оружием приходит.

- А если наши с ихними начнут стрелять? - Лиса взяла его за руку, положила себе на колено. - На чьей ты стороне?

- На своей. Я присягал России. А Россия - это не нация. Это страна. Там все нации. - Он почувствовал, что говорит как по писаному, но слова были правдой. - Я присягал не президенту, не правительству. Я присягал матери, деду, дому. И всем, кто там живёт.

Лиса улыбнулась, но улыбка вышла грустной:

- Штампы учишь в армии?

- Нет. Сам дошел. - Он сжал её руку. - Не веришь?

- Верю. Но мне всё равно страшно.

Она замолчала. Он ждал.

- Мне страшно, Лёша, - сказала она тихо, глядя на звёзды. - Не знаю от чего. Какое-то предчувствие. Будто завтра должно случиться что-то ужасное. Я сегодня днём видела сон - будто небо горит, а я бегу по полю, и никого нет. Пустота. Земля чёрная, небо красное. И колодец в поле - я в него смотрю, а оттуда кто-то смотрит на меня.

- Сны - это сны, - сказал Рокотов, хотя внутри похолодел. - Дед мой говорил: «Сон - это разговор души с Богом. Бойся не снов, бойся их не помнить».

- А ты помнишь свои?

Он помедлил, потом кивнул:

- Помню. Сегодня ночью, перед отъездом из части, мне снился дед. Стоял у Рейхстага, как на той фотографии. Улыбался. И сказал: «Четвёртого утра бойся». Я проснулся в три сорок семь. Посмотрел на часы - и не понял. Что это за час? Почему именно четвёртого утра?

- Четвёртого утра? - переспросила Лиса и вздрогнула. - Почему?

- Не знаю. Может, потому что в сорок первом, двадцать второго июня, война началась в четыре утра. Дед об этом всегда вспоминал. Говорил: «Самое страшное - проснуться от взрывов, когда ещё даже петухи не пели».

Лиса придвинулась ближе, почти прижалась щекой к его плечу. Молчали долго. Костер догорал, угли шипели, когда озерная волна набегала на самый край воды. Где-то далеко, на литовской стороне, ухнула сова - низко, протяжно, как предупреждение.

- Тебе пора к себе, - сказал Рокотов, хотя сам не хотел её отпускать. - Застудишься. Утро холодное.

- А тебе?

- А я ещё посижу. Посмотрю на звёзды.

Она не уходила. Вместо этого положила голову ему на плечо, закрыла глаза. Тяжесть была приятной, тёплой. Он обнял её - неловко, неумело, как умел. Сердце колотилось так, что, наверное, было слышно на том берегу. Пахло от неё травами и костром, и ещё чем-то далёким - домом, детством, чем-то, что нельзя назвать словами.

- Ты женишься на мне, солдат? - спросила вдруг шёпотом, не открывая глаз. Губы её чуть шевелились.

Рокотов растерялся на секунду. Потом сказал то, что было правдой:

- Сначала отдам долг Родине. Потом - да. Если захочешь.

- Дурак. - Она чуть улыбнулась. - Конечно, захочу.

Так и сидели до тех пор, пока луна не скрылась за соснами, оставив на воде только звёздный свет. Потом Лиса поднялась, стряхнула песок с футболки, поцеловала его в щёку - быстро, легко, как мотылёк крылом, - и ушла к палатке, не оборачиваясь. Рокотов смотрел ей вслед, пока чёрный силуэт не растаял в темноте, растворённый ночью.

Вернулся к костру. Кекс спал, сидя на бревне, прислонившись спиной к сосне. Голова его свесилась набок, из открытого рта вырвался тихий храп. Ботаник тоже дремал, но, когда Рокотов подсел к огню, вздрогнул и открыл глаза.

- Поговорили? - спросил он тихо, шурясь.

- Поговорили.

- Хорошо. - Ботаник поёжился, подтянул колени к подбородку. - Лиса - добрая. И сильная. Таких мало.

- Откуда знаешь?

- По глазам вижу. И ещё - она полукровка. А полукровкам жить тяжелее. Везде чужие. Но если они выживают - они крепче всех. Потому что их никто не жалеет.

Рокотов не ответил. Подбросил последние ветки в огонь, услышал, как за парусиной палатки всхрипывает Кекс - уже в полный голос, на всю округу. Потом спросил:

- Ты сегодня всё о войне да о войне. И о коридоре, и о бомбах. Откуда столько?

- Учился. - Ботаник потер глаза. - Историю знаю. Сувалкский коридор - это Ахиллеова пята НАТО. Самое узкое место между Беларусью и Калининградом. Если они ударят, то отсюда. Не из Калининграда, как некоторые думают, а сюда - через границу, чтобы отрезать нас от России. И тогда наши, из Беларуси и с запада, ударят навстречу. Будет мясорубка.

- Ты кармаешь.

- Я предупреждаю. - Ботаник посмотрел на Рокотова поверх очков. - Скажи спасибо, что вслух редко говорю. Не хочу никого пугать. Но если не пугать, то как готовиться?

Рокотов промолчал. Ботаник вздохнул, потом добавил еле слышно, почти одними губами:

- У меня Лена. Если начнётся - что с ней будет? У неё даже отца нет, только брат-недотёпа и мать больная. Кто её защитит?

- Не начнётся, - твёрдо сказал Рокотов, хотя сам уже не был уверен. - Дай слово.

- Какое слово?

- Русское. Что война не придёт.

Ботаник долго молчал, глядя на угли. Потом вздохнул, кивнул. Встал, отряхнул штаны от песка и хвои.

- Пойду спать. Завтра рано вставать - пироги доедать, а то мать твоя обидится.

И ушёл в палатку, шелестя спальником, шурша брезентом. Рокотов остался один.

Сидел долго. Смотрел на озеро. Вода чернела, гладкая, маслянистая, как расплавленный янтарь. На том берегу - Литва, чужая земля с чужими людьми. Он почти физически чувствовал, как оттуда тянет холодом. Может, ветер? Может, сквозняк с той стороны, где нет ни огней, ни жилья - только лес, только тьма.

Или что-то другое. Что-то, что он не умел назвать.

Посмотрел на часы. Половина третьего ночи. Девятое мая уже наступило - там, за чертой полуночи, где-то на востоке, в Москве, может, уже гремит салют. Здесь, у озера, ещё тьма. Последняя тьма перед рассветом. Перед тем рассветом, который выжжет всё.

Рокотов перекрестился - медленно, неумело, как учила бабушка. Встал, загасил угли - засыпал песком, чтобы не разгорелись снова, не устроили пожар. Проверил, закрыты ли палатки. Залез внутрь, укрылся спальником, в котором пахло домом и стиральным порошком.

Кекс спал, закинув руку на голову, посапывая. Ботаник свернулся калачиком, обняв рюкзак с книгами.

Тишина.

Глава 3. «Последний сон»

Сон навалился внезапно, без предупреждения. Одна секунда - Рокотов ещё слышал, как за парусиной плещется вода, а в следующую - провалился.

Ему снилось, что он идёт по ржаному полю. Колосья доставали до пояса, шуршали, цеплялись за руки. Небо было низким, багровым, будто накрытым раскалённым железом. Впереди, у самого горизонта, чернел лес, а из леса тянуло дымом - не горьким, а сладковатым, приторным, как от сухих цветов на похоронах.

- Не туда идёшь, парень, - раздался голос сбоку.

Рокотов обернулся. На меже, опираясь на корявый посох, стоял старик. Лицо его было в глубоких морщинах, глаза белые, как у слепого, но смотрели они прямо и зряче. Одет старик был в рваную армейскую гимнастёрку без погон, на груди - медаль с потускневшей колодкой.

- Ты кто? - спросил Рокотов, и голос его прозвучал глухо, будто из-под воды.

- А ты не узнал? - усмехнулся старик. - Я - тот, кто уже здесь. Ты - тот, кто ещё там.

Он махнул рукой в сторону леса, и Рокотов увидел: из-за деревьев выходят люди. Много. Идут цепью, молча, ступают ровно, как на параде. Форма на них была серая, незнакомая, с чёрными повязками на рукавах. Лиц он не различал - только тени.

- Кто это? - Рокотов хотел сделать шаг назад, но ноги не слушались.

- Те, кто сорвёт красный флаг, - ответил старик. - Те, кто придёт в священный час. Запомни, парень: война не объявляет о себе по радио. Она приходит во сне. Она приходит под утро.

- Что мне делать?

- Ты уже сделал. Присягнул. А остальное - как трава под косой. Одни лягут, другие - встанут.

Старик хотел сказать ещё что-то, но вдруг замер, прислушался. Из леса донёсся гул - нарастающий, тяжёлый, от которого задрожала земля. Рокотов упал на колени, зажал уши. Гул перешёл в рёв, потом в вой, и небо над полем раскололось огненными трещинами.

- Просыпайся! - крикнул старик, и его голос перекрыл весь шум. - Просыпайся, пока не поздно! В четыре утра - берегись!

Рокотов открыл глаза. Сердце колотилось так, что, казалось, рёбра треснут. Палатка. Темнота. Рядом кто-то тяжело дышал - Кекс, свернувшийся калачиком. Ботаник лежал на спине, раскинув руки, и не шевелился.

Рокотов сел, вытер лицо - оно было мокрым. Пот? Или слёзы? В палатке пахло сыростью и старой травой. Он нашупал часы на запястье, поднёс к щели - светящиеся стрелки показывали 3:56.

Три пятьдесят шесть утра.

Девятого мая.

В голове ещё звенел голос старика: «В четыре утра - берегись». Рокотов потрянул головой, прогоняя наваждение. Сон - это всего лишь сон. Дед говорил, что сны приходят от усталости.

Он откинул полог палатки, выглянул наружу. Небо было чистое, звёздное, луна уже скатилась за горизонт. Озеро чернело, гладкое как стёкла. Литовский берег - ни огонька. Ветер совсем стих, и тишина стояла такая, что в ушах звенело.

- Лёш, ты чего? - прошептал Кекс, приподнимаясь на локте.

- Воды захотелось.

- С ума сошёл? Ночь на дворе.

- Спи.

Кекс буркнул что-то невнятное, перевернулся на другой бок. Спальник зашуршал, и снова наступила тишина.

Рокотов сидел у входа в палатку, смотрел на воду и почему-то не мог заставить себя вернуться внутрь. Что-то было не так. Что-то в воздухе. Он прислушался - ничего. Только лёгкий шелест, будто ветер трогает верхушки сосен.

А потом он услышал другой звук. Тонкий, далёкий, похожий на комариный писк. Но комары ещё не проснулись - май, ночи холодные.

Звук нарастал. Превращался в свист. Свист - в гул, от которого заныли зубы.

- Ты слышишь? - спросил Рокотов, толкая Кекса в бок.

- Отстань...

- Вставай.

Он уже сам выскочил из палатки, поднял голову вверх. В звёздном небе ничего не было видно, но гул становился всё громче, как от приближающегося поезда. Где-то далеко, за лесом, полыхнуло - небо на мгновение стало оранжевым.

- Ложись! - заорал он что есть силы.

Кекс вылетел из палатки следом, не успев даже натянуть штаны. Ботаник, сонный, высунил голову, протерев очки.

- Что...

Договорить не успел.

Первая ракета упала в стороне. Вспышка осветила полнеба, и через секунду до них долетел звук - тяжёлый, утробный удар, от которого земля вздрогнула и пошла волной. Вторая - ближе, уже за лесом. Третья - так близко, что в воздухе запахло горелым.

Ботаник скатился вниз, накрыл голову руками. Кекс орал матом. Из девичьей палатки выскочила Лиса - босиком, в одной футболке, следом Лена.

- Раненые есть? - спросила Лиса спокойно, почти буднично.

- Пока нет, - ответил Рокотов и понял, что это слово - «пока» - будет сопровождать его очень долго.

Над озером разорвался ещё один снаряд, и вода взметнулась фонтаном грязи и песка. Рокотов схватил Лису за руку, потащил к машине.

- Быстро! В уазик! Все!

Кекс уже сидел за рулём, выруливал с косы на лесную дорогу. Ботаник, трясущийся, загружал в багажник рюкзаки. Лена помогала Лисе тащить аптечку.

Рокотов оглянулся назад, туда, где ещё минуту назад горел костёр и стояли палатки. Палатки уже не было - только чёрное пятно и дым. Небо на востоке начинало светлеть, но это был не рассвет. Это горел Калининград.

Четыре утра.

Девятое мая.

Старик из сна оказался прав.

- Поехали! - крикнул Рокотов, запрыгивая на подножку.

Уазик взревел, подпрыгнул на корнях и нырнул в темноту леса. В зеркале заднего вида ещё долго полыхало озеро - но уже не звёздной гладью, а заревом чужого, злого огня.

Лиса прижалась к Рокотову, и он почувствовал, как дрожит её тело. Но ни один из них не произнёс ни слова.

Война началась.

Теперь оставалось только выжить.

Глава 4. «Рассвет, которого не будет»

Они рванули к машине, не разбирая дороги. Рокотов слышал, как за спиной хрустят ветки, как Лена всхлипывает на бегу, как Лиса тяжело дышит, прижимая к груди аптечку. Кекс уже сидел за рулём, мотор взревел ещё до того, как они захлопнули двери.

- Пристегнитесь! - крикнул Кекс, хотя какие пристегнуться - в уазике ремни давно сгнили.

Рокотов вжался в сиденье, глядя в боковое зеркало. Сзади взметнулось оранжевое зарево - там, где только что стояли палатки, теперь полыхало. Взрывы гремели уже не по одному, а слитно, как барабанная дробь.

- Куда гнать? - Кекс вывернул руль, объезжая поваленное дерево.

- К Уварову, через старую лесопилку, - скомандовал Рокотов. - Там дорога хуже, но короче.

- Там болото.

- Проскочим.

Уазик подпрыгнул на корнях, занесло на повороте. Рокотов вцепился в поручень над дверью. Лиса пригнулась, прикрывая голову. Ботаник что-то бормотал на заднем сиденье - может, молитву, может, ругательства.

Впереди из придорожных кустов выскочил олень. Кекс успел вывернуть, олень метнулся в сторону и исчез в дыму.

- Твою мать! - выдохнул Кекс. - Зверьё тоже бежит.

- Значит, чует, - ответил Рокотов.

Из леса справа ударила очередь - короткая, над головой. Рокотов машинально пригнулся, хотя пули прошли выше. Стекла не выбили.

- Кто стрелял? - Лена закричала тонко, по-детски.

- Не вижу. Кекс, жми!

Кекс вдавил педаль в пол. Мотор взвыл, машина вылетела на просёлок. И тут из-за поворота вырулил джип - чёрный, матовый, без опознавательных знаков. Фары ударили в лицо, ослепили.

- Тормози! - крикнул Рокотов.

Кекс ударил по тормозам - уазик занесло, развернуло поперёк дороги. Джип остановился метрах в пятнадцати, лягнул дверцами. Оттуда выскочили трое в камуфляже, без шевронов, с автоматами на изготовку.

- Не стрелять! - сказал им кто-то на чужом языке. Рокотов не разобрал - польский или литовский.

- Назад! - заорал Кекс и включил задний ход.

Уазик рванул назад, ломая кусты. Пулемётная очередь вспорола землю перед носом, взметнула фонтан грязи. Лиса вскрикнула и схватилась за плечо - сквозь пальцы потекла тёмная, почти чёрная кровь.

- Ранена! - крикнул Ботаник.

- Не ори, - Лиса стиснула зубы, лицо её побелело. - Царапина.

Рокотов перегнулся через сиденье, сорвал с себя футболку, прижал к её плечу.

- Кекс, уходи!

Кекс вылетел на лесную дорогу, джип попытался догнать, но застрял в промоине - заверещал мотором, задымил.

- Есть! - заорал Кекс.

Уазик шёл юзом, подпрыгивая на ухабах. Лиса закусила губу, Лена дрожащими руками перетягивала ей плечо бинтом из аптечки.

- Долго? - спросил Рокотов.

- Десять минут, - ответил Кекс. - Если мосты не сожгли.

Мосты не сожгли. Уварово встретило их тишиной - такой, какая бывает только перед вторым ударом. Ни лая собак, ни голосов. Дома стояли тёмные, и только у обелиска, на площади, тускло светила одинокая лампада.

Дом матери Рокотов узнал сразу - крайний, у леса, с покосившимся забором и старой ракушкой у калитки. Калитка была распахнута настежь, дверь в сени не заперта.

- Ждите здесь, - сказал Рокотов и выскочил из машины.

В доме пахло пустотой и сыростью. Ступени в подвал были скользкими от пролитой воды.

- Мама! Мама!

Из темноты донёсся слабый, но спокойный голос:

- Здесь я.

Он нащупал её плечо, помог подняться. В подвале, кроме матери, сидели ещё человек семь - соседи, старухи с узлами, испуганная девочка с плюшевым зайцем.

- Все живы, - сказала мать. - Это главное.

- Лиса ранена. Но не тяжело.

- Ведите её сюда. Я постелю.

Рокотов помог матери выбраться наверх, потом вернулся к машине. Лиса уже шла сама, держась за здоровую руку, Лена поддерживала её с другой стороны.

- Подвал надёжный? - спросил Ботаник.

- Как бункер. Дед делал.

Кекс затащил ящик патронов, ружьё, карабин. Ботаник пересчитал - патронов к «Сайге» было всего восемь, к ружью - четырнадцать.

- Маловато, - сказал он.

- Будем искать, - ответил Рокотов.

Мать уже стелила на пол старые матрасы и одеяла. Раненую Лису уложили в углу, на тюфяк. Она не жаловалась, только смотрела в потолок и иногда морщилась. Лена обработала рану зелёной и наложила чистую повязку.

- Вытащить пулю? - спросила Лена дрожащим голосом.

- Не надо, - ответила Лиса. - Маленький осколок - заживёт.

Рокотов вышел во двор. Рассвет разгорался - серый, тусклый, будто кто-то вылил на небо ведро золы. На западе, над лесом, продолжали вздыматься чёрные клубы дыма. Артиллерия была где-то далеко, глухо, как подушкой прикрыли.

Он сел на лавку у калитки, положил ружьё на колени. В кармане лежал деревянный крестик - мать сунула, когда он зашёл в подвал. Крест был шершавым, некрашеным, пах старым деревом.

«Вот и рассвет, - подумал Рокотов. - Не такого я ждал девятого мая».

Он вспомнил деда, но не того, из снов - настоящего, живого, с мозолистыми руками и вечной трубкой в зубах. Дед всегда говорил: «На войне главное - глаза. Увидят врага раньше, чем он выстрелит - будет жить».

Рокотов поднялся, проверил патроны в ружье. Четыре. Остальные в патронташе у Лисы. Этого хватит, чтобы выстрелить четыре раза. А потом - что?

За околицей, у фермы, коротко залаял автомат. Чужой, с резким, отрывистым звуком.

Рокотов вздохнул, поправил ляжку ружья и шагнул за калитку - туда, откуда доносилась стрельба.

На рассвете, которого могло и не быть.

Глава 5. «Первая кровь»

Рокотов шёл на звук стрельбы, пригибаясь к земле. Ружьё он нёс на изготовку - два патрона в стволах, остальные в кармане куртки. Рассвет разгорался серый, будто кто-то высыпал золу на небо. Дома Уварово стояли молчаливые, ставни закрыты, ни одного человека на улице. Только дым над лесом да далёкий гул моторов.

Остановился у обелиска. Тот самый - с красной звездой, со списками павших в сорок пятом. У подножия - венки, георгиевские ленты, никто не успел убрать. Прямо на ступеньках лежал старик. В пиджаке с медалями, сжимая в кулаке примятую гвоздику. Глаза открыты, смотрят в небо.

Рокотов опустился на колено, закрыл ему глаза. Медали снимать не стал. Только прошептал:

- Прости, дед. Не уберегли.

И пошёл дальше, крадучись вдоль заборов.

За магазином, в подворотне, он услышал сдавленный стон. Рокотов прижался к стене, выглянул за угол. Там, прислонившись к мусорному баку, сидел человек в военной форме. Наш. Пехота. Левая рука висит плетью, правая сжимает автомат. Лицо бледное, в копоти.

- Свои, - выдохнул солдат, увидев Рокотова. - Не стреляй.

Рокотов подскочил к нему, присел на корточки.

- Ты откуда?

- Черняховск. Колонну разбили. Я отбился, лесом шёл. - Солдат поморщился, перехватывая автомат. - Сержант Кравцов. А ты?

- Рокотов. Балтийский флот, мехвод. В отпуске был.

- Счастливый, - усмехнулся Кравцов, но усмешка вышла кривой. - С оружием-то что? С ружьём против бронжилетов собрался?

- Другого нет.

Кравцов посмотрел на «Иж-27», на потрёпанный патронташ, потом на свой автомат. Вздыхнул. Расстегнул ремень, снял с себя АК-74М.

- Держи. Магазина три, девяносто патронов. А мне ружьё. Я всё равно в тыл, а у тебя бой впереди.

- Ты же ранен...

- Царапина. Осколком зацепило. А тебе без автомата - смерть.

Рокотов взял автомат. Тяжёлый, ещё тёплый от тела Кравцова. Проверил затвор, магазин. Всё в порядке.

- Спасибо, сержант.

- Не на чем. - Кравцов перехватил ружьё, передёрнул стволы. - Сколько тут у тебя?

- Два в стволах, ещё в кармане. Я рассовал.

- Ладно. Прощай, моряк. Иди, а я до ваших постараюсь доползти.

Рокотов помог ему подняться, поддержал, пока Кравцов не нашёл опору. Потом они разошлись в разные стороны: Кравцов - к центру посёлка, Рокотов - на опушку, откуда слышалась чужая речь и лязг гусениц.

На опушке он залёг за поваленной сосной. Дорога, ведущая в Уварово, просматривалась метров на двести. Он ждал. И дождался.

Из леса выполз броневик. Лёгкий, юркий, с пулемётом на турели. За ним цепью шли солдаты - человек двенадцать. В камуфляже, в касках, с автоматами. Поляки, понял Рокотов по флажку на броне.

Он перекрестился. Поправил приклад.

- Ну, дед, помогай.

Когда головной дозор поравнялся с сосной, Рокотов нажал спуск. Очередью - три патрона. Крайний солдат упал. Ещё один, из второй шеренги, закричал и схватился за ногу.

- Везде! - заорали поляки, открывая беспорядочный огонь.

Рокотов перекатился в яму, сменил позицию. Высунулся - ещё одна очередь. Теперь по броневнику. Пули зазвенели по броне, пулемётчик на турели дёрнулся и сполз вниз.

Ответка была жесткой. Крупнокалиберный пулемёт застучал по сосне, срезая ветки, взрывая землю. Рокотов вжался в дно ямы. Рядом что-то громко щёлкнуло - пуля ударила в камень в двух сантиметрах от головы.

Он отполз влево, вдоль оврага. В кармане оставалась граната - РГД-5, отданная Кравцовым. Выдернул чеку, размахнулся, кинул под броневик - не столько поразить, сколько отвлечь.

Взрыв прогремел глухо, земля заходила ходулей. Дым заволок всё. Пулемёт замолк.

Рокотов вскочил, побежал к посёлку, стреляя на ходу, не целясь. Пригнулся, петлял между деревьями.

Пуля чиркнула по лопатке - не больно, горячо. Он не обратил внимания. Влетел в огород, перемахнул через плетень, упал за старый сарай.

За спиной снова застрочил пулемёт. Значит, не добил.

Он лежал, тяжело дыша, и считал патроны. Осталось два магазина. Он сделал перебежку к дому матери.

У калитки его встретил Кекс. Глаза бешеные, карабин «Сайга» наперевес.

- Там, - выдохнул Кекс, показывая в сторону скотного двора. - Засели четверо. Рация у них.

- Кравцов где?

- В подвале, раненых перевязывает. Твой поляк тоже там, дрожит.

Рокотов перезарядил автомат.

- Давай, - сказал он. - Обходим справа.

Они пошли вдоль забора. У ворот скотного двора - тишина. Потом из-за угла выскочила фигура в камуфляже. Рокотов не раздумывал - очередь. Солдат упал, не вскрикнув.

Второй выстрелил из-за стога сена. Кекс успел пригнуться, пуля ушла в молоко. Кекс ответил - из карабина, в упор. Чужой автомат выпал из рук.

Рокотов заскочил во двор. Двое оставшихся отстреливались из хлева. Он бросил гранату - последнюю, которую снял с убитого. Взрыв. Тишина.

Из хлева выволокли пленного - молодого, безоружного, с перепуганными глазами. Он бормотал что-то по-польски, трясся.

- Что с ним? - спросил Кекс.

- Живой, - ответил Рокотов. - Отведёшь в подвал. Пусть сидит.

Кекс хотел возразить, но Рокотов уже развернулся и побежал к дому. Там, в подвале, кричала Лена: матери стало плохо.

Он влетел в подвал. Мать сидела у стенки, держась за сердце. Лиса, бледная, с перевязанным плечом, растирала ей виски.

- Таблетки дала? - спросил Рокотов.

- Да, уже легче, - ответила Лиса.

Мать открыла глаза, увидела сына в чужой форме, с чужим автоматом. Улыбнулась слабо.

- Живой.

- Живой, мама.

Он опустился рядом, обнял её. Сухую, пахнущую мукой и старым деревом.

Сверху, где-то на улице, снова застрочил автомат. Чужой.

Рокотов поднялся. Посмотрел на людей в подвале - старухи, дети, раненые. Спросил себя: «Почему я?» И сам себе ответил: «Потому что больше некому».

- Слушайте все, - сказал он громко, почти не своим голосом. - Уходим ночью. В лесную сторожку за озером. Кто идёт - собирайтесь. Кто остаётся - тому молиться.

Кравцов, сидевший у входа с ружьём Кекса, хмыкнул:

- Теперь ты командир, Рокотов. Поздравляю.

- Ещё не вечер.

- Вечер уже близко.

Рокотов вышел во двор. Автомат на груди, в запасном магазине - двадцать патронов. Он посмотрел на запад, где горел Балтийск.

«Четыре утра, - подумал он. - Дед, ты был прав».

И шагнул в темноту, откуда слышались чужие голоса и выстрелы.

Глава 6. «Подвал»

Рокотов спустился в подвал последним. Люк над головой захлопнулся с глухим стуком, и сразу стало душно, тесно, будно. Он замер на нижней ступеньке, привыкая к полумраку. Две керосиновые лампы - мать держала их для оказания - стояли на перевёрнутых ящиках из-под снарядов. Свет чадил, плясал, выхватывал из темноты то лицо, то грязные мешки с картошкой, то край старого матраса.

В подвале матери Рокотов не был с детства. Тогда он казался ему огромным, таинственным, полным банок с вареньем и запаха антоновки. Теперь он видел его настоящим: пятнадцать квадратных метров земляного пола, низкий потолок с чёрными балками, стены из старого, ещё дореволюционного булыжника, кое-где подмазанные глиной и извёсткой. Воздух - спёртый, тяжёлый, пахло землёй, капустным рассолом, йодом и - неотвязно - человеческим потом.

Сюда набились тридцать человек. Набились так, что некуда было ступить - сидели, лежали, жалась к стенам. Рокотов насчитал позже: женщины с младенцами на руках, старухи в чёрных платках, дети постарше - затихшие, с большими испуганными глазами. У дальней стены громоздились мешки с картошкой, ящики с соленьями, поленница дров - чтобы переждать долгую зиму. Никто не думал, что придётся прятаться здесь от войны.

- Затворяй плотней, - сказала мать из полутьмы. - Чтоб свет не пробивался.

Рокотов накинул сверху старый половик, придавил доской.

- Не пробивается, мам.

Она сидела на продавленном матрасе, спиной к стене, накрыв ноги ватным одеялом. Лицо ещё бледное - казался сердечный приступ, когда прибежали с озера, - но глаза уже обрели спокойствие. Ирина Петровна всегда так: сначала паника, потом тихая, ровная решимость, которую не сломать и бомбёжкой.

- Ты цел? - спросила она, протягивая руку.

- Царапины.

- Покажи.

Он отмахнулся, но мать настояла - задрала рукав, осмотрела ссадину на предплечье. Потом достала из кармана фланелевую тряпочку, протёрла края раны, присыпала чем-то из пузырька.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.